**Андрей Бикетов**

**Название пьесы – «Вас плохо слышно»**

*Январь 1939 года. Пастернак в московской коммунальной квартире. Он смотрит на фотокарточку – на ней изображен черно-белый Мандельштам. Пастернак прислушивается, смотрит с опаской на дверь – не прячется ли за ней соглядатай?*

**Пастернак.** Эх, Йосик, Йосик. Пропал ты не за понюшку табаку. Не надо тебе было ввязываться в эту историю. Очень уж ты был смелый, слишком нахрапистый. А система этого не любит. А ты не хотел понимать. Или, наоборот, понимал, но слишком уж упрямый оказался. А, может, ты и есть истинный поэт. Как же ты меня напугал! Мы тогда стояли с тобой на окраине Москвы. Пред нами шум извозчичьих телег. Скрип этот нелепый – чем-то он мне таким запомнился, никак не могу прознать до сего дня, чем именно. А ты, Йося, был бледным и сосредоточенным. Поглядел на меня особенным взглядом и тут же рубанул с плеча, выпалил скороговоркой: «Мы живём, под собою не чуя страны, наши речи за десять шагов не слышны». И зачем мне это сказал? Эти и последующие за ними строки? (*Пастернак подходит к двери своей комнатки, аккуратно за нее заглядывает. Никого*). Это ты решил Сталина словом пригвоздить. Самого Сталина! Это же надо додуматься до такого было! Конечно, каждый поэт хочет быть бессмертным. Но после такого стихотворения о бессмертии даже помышлять было нельзя, и дни твои оказались сочтены. Нет, такого в нашем государстве не прощают. Жизнь моя пронеслась за секунду в моей голове – странная и отчаянная. И, хотя в жизни этой оказался я букашкою, мне захотелось в нее отчаянно вцепиться и не выпускать. Другого ничего я не понимал и не представлял. Быть может, в этом и есть способность истинного поэта – опоясаться смелостью, ничего пред собой не боясь. Идти не по течению, а против него, даже если это и стоило бы рассудка. Очевидно, я бы так не сумел, поскольку за себя и ближних робел. Но ты, Йося… Твое лицо тогда горело центральноуличным фонарем и сияло, как начищенный до блеска пятак. И потом ты произносил другие строки этого стихотворения, которые я даже сейчас, сидя у себя дома повторять боюсь. У здешних стен есть уши, и доносы по столице сейчас распространяются со скоростью молнии. Я за секунду понял, Йося, на какой шаг тогда ты решился, но зачем тогда ты решил меня впутать в эту историю? Нет, ты последствий не понимал, и чуял за собой и строками своими правду. Потому ты и решил мне их прочитать, показать свой талант, показать, как жестоко к нам нынешнее время, и что делать в нем поэту совершенно нечего. Оставалось только сказать всю горькую правду, что лежала на душе. И ты, очевидно, к этому полностью решился. Ты был так откровенен со мною – как думал, так и положил на рифму. Но, бог мой, лучше бы ты не делал этого совсем. Ведь много позже – у меня спрашивали за тот день. И за тебя тоже спрашивали (*показывает пальцем вверх. Смотрит задумчиво на фотокарточку, расправляет уголок*). Беспечный ты был, Йося, не иначе. Ты читать закончил, и ждал с минуту моего ответа. Я смешался, не знал, что тебе ответить. Согласиться с твоими мыслями и содержимым строк было невозможно. Если бы я тогда тебя поддержал, и высказался против вождя нашего, меня не было бы здесь в моей комнатке. Это я чувствую нутром, и уверен в этом также, как в том, что солнце всходит по утрам. Йося, ты был все же очень талантлив, но похвалить я тебя не мог в этот день. А теперь вроде бы и хвалю, но услышать – ты все равно не услышишь. Это не похвала даже – а так, для очистки совести. Ты все смотрел на меня тонко из-под бровей, а я холодным голосом, как лед на снеговую макушку, процедил, что это не поэзия и не литература. Что это факт убийства, и принимать в нем никакого участия я не намерен. Я твердил несколько раз, что ты мне ничего не читал, и читать был не должен, и что я совершенно ничего не слышал. Это было иудство с моей стороны. Душа моя того разговора не находит покоя. Я первый предатель, ушедший от близкого, а близкий этот – соратник по перу, более даже способный, чем я сам. Прости меня, Йося. (*Кладет фотокарточку на тарелку и поджигает спичками*). Опасно теперь даже портрет твой оставлять. Вот, ирония судьбы. Ты смотришь на меня, как я перед тобой малодушничаю. И нет тебя уже на свете, а я все считаю по старой привычке, что еще тут пребываешь, поблизости. Насколько мне известно, ты пропал окончательно по пути в лагерь. Говорят, что ты скончался по пути долгой пересылки во Владивосток. Но как оно было на самом деле, теперь не от кого допытаться. Да, Йося, такие смелые, как ты, в опасные времена первые уходят в жертву. Мы не были с тобой особенно друзьями, но круг твой мне был близок. И каждый поэт, ушедший раньше срока, это тоска для всего общества и для ценителей слова. Долго я хранил твою карточку, но, как понимаешь, теперь и от нее избавился. И нас связывают только воспоминания. Мог ли я тебя потом спасти? Об этом я себя постоянно пытаю, и ответа не нахожу.

*Пастернак подходит к телефону, снимает трубку с рычага. Прислушивается – там тишина.*

**Пастернак.** Это было в том же роковом 34-м году. Мне звонил тогда Поскребышев. Он произнес только одну фразу: «С вами будет говорить товарищ Сталин». Меня будто обухом топора стукнули по голове. Страх – противный и липкий – он сковал мое существо. Это я сейчас знаю, что это был ближайшие охранитель нашего вождя, а тогда я понятия не имел, кто ко мне обращается. Обычный день протекал своим чередом. Но, когда этот звонок возник передо мной, как нежданное событие, привычный ход событий нарушился. И планы мои были из мозга выброшены напрочь. И настроение мое тогда выбросилось совсем, упав ниже половой доски, а напряжение росло. Я отлично понял, что речь будет касаться именно того скрытного разговора с тобой, Йося. Кто-то нас сдал, услышав нашу беседу. Я подумал тогда, что это ты сам сделал под пытками, в этом случае осудить тебя я не мог, поскольку сам не пребывал в таком положении. И только позже мне Анечка Ахматова указала, что сделать ты этого не мог, да и не стал бы никогда, чтобы ко мне внимания излишнего не привлекать. От этого осознания мне стало еще горше. Йося, ты оказался чище меня и лучше меня. Ты и есть поэт, Поэт с большой буквы, способный от природы и не желающий уйти от своего предназначения. А я… Я не сумел ответить правдиво тогда по телефону. Поскребышев произнес: «С вами будет говорить товарищ Сталин». Я обмер весь. И краска схлынула с лица, смешавшись с кровью. Сталин! Со мной будет говорить лично Сталин! Уже эти слова звучали, как приговор, как набат, как размеренный тон судьи на заседании и как финальный момент в моей судьбе. Я промямлил, чтобы еще выиграть хоть минутку, чтобы постараться прийти в себя: «Вас плохо слышно… Вас очень плохо слышно». Недоброжелатели мои твердят, что я тем самым выпрашиваю себе лучших жилищных условий, пытаясь из коммунального собственного жилья съехать. Но, признаться честно, я просто теряюсь, когда по трубке беседую с сильными лицами нашего мира. Возможности их мне отлично известны. Мне страшно сказать чего лишнего, и, находясь во временном цейтноте, пытаюсь вечно выторговать себе толику времени сверх положенного. Йося, ты спросишь, что потом? Поскребышев металлическим голосом посоветовал оставаться на линии, поскольку вопрос чрезвычайной линии.

- Вы меня разыгрываете, - пробурчал я, все еще не веря в происходящее. - Сейчас вы сами убедитесь, - ответил ЕГО личный секретарь.

**Пастернак** (*набирает цифры на диске телефона*) И вот он – голос Сталина – осторожный и проникающий далеко вглубь. Сталин на проводе!

- Вы Борис Пастернак?

- Да, это я, - отвечаю.

- Товарищ Пастернак, что вы думаете о Мандельштаме?

Вот когда меня пронзило и проняло: Сталин знает! Он всё знает и теперь меня допытывает! Это хитро устроенная ловушка! Стоит мне теперь ответить, что думаю я о Пастернаке хорошо, и мой черед наступит. Примчит ко мне «воронок» в коммунальный дом, увезут меня с концами. Это есть ловушка, проработанная Сталиным в полной мере проверка. Отвечать нужно сугубо отрицательно – Мандельштама ругать, от связи с ним всячески открещиваться. Однако имел ли я тогда представление, что выставляю себя в невыгодном свете, что обо мне в Союзе широко будет известно, как о неспособном на приятельские отношения человеке? Нет, не имел. Я цеплялся за существование – это более чем верно. «Он мне не товарищ и не друг. Общение с ним, товарищ Сталин, меня тяготило. А вот с вами поговорить – я всегда мечтал». В трубке молчание, вождь готовился к следующему на меня броску.

- Он вам стихотворение про меня читал?

- Читал.

- Что думаете?

- Это не стихотворение совсем, а сплошное недоразумение. И Мандельштам – пасквильщик, не поэт.

Эх, Йося. Зачем тогда я так сказал? Быть может, я мог бы попросить тогда за тебя перед руководством. Вдруг я бы попросил, а тебя выпустили, и про стихи твои забыли. Повинился бы ты, в «Правде» извинение бы твое напечатали – и тем бы всё и закончилось.

- Скажите честно – мастер ли Мандельштам в своем деле?

- Если честно, товарищ Сталин – мы с ним разные, как поэты. Стихи его я некоторые ценю, однако духовной близости с ним не чувствую. Беседа с вами мне намного приятнее. Возможно, только один раз за многие годы выпадает такому обычному лицу, как я, поговорить с подобной вам величиной. Это событие космического масштаба, которое запомнится мне навсегда.

- Мне не нужна телефонная философия. Вот если бы моего товарища арестовали, я бы на стенку лез.

- Иосиф Виссарионович, если вы ко мне звоните, то наверняка знаете, что я на эту стенку и лез.

- Я думал, вы великий поэт. А вы – великий фальсификатор.

И всё! Дальше гудки – длинные, противные. А потом я плакал. Нет, какое плакал – я рыдал. Пошёл в магазин, купил водки, пил до невменяемого состояния. Мысль вертелась отчаянная – попроси я бы тогда за Мандельштама, его бы вдруг и отпустили! И наладилось бы! Это один шанс на миллион бывает, а я им воспользоваться не смог. Больше подобного не повторится, и ты, Йосик, был отныне обречен. Что поделать – растерялся… Глупо, глупо невероятно, а бывальщина, не спас человека. Меня поэтому вина и мучит. Пять лет не отпускает, и даже когда карточку твою сжег, она меня едва ли отпустит. Это мой чемодан, моя ноша. Она от меня не отлепится, как собственная кожа, и будет препровождать меня до могильной плиты. А там, быть может, Йося, ты меня простишь. Ты был отходчивый при жизни, на мне грех лежит – осьмнадцати пудов. А вдруг ты меня за него решишься и простишь? Тогда мне и помирать не страшно. Жалкий я человечек, никакого мне оправдания нет.

*Пастернак подходит к окну, распахивает его настежь. В комнату врывается свежий зимний воздух.*

**Пастернак**. Мы после того разговора с женой решились в ресторан. Прежде, когда заходили, растворяли двери заведения сами. Но по прошествии разговора двери нам стали открывать швейцары, и раздевали нас тоже они. Новость о разговоре моем со Сталиным быстро разнеслась повсюду. Такой звонок кому угодно не делается. И уж коль не арестовывают и не уводят, то это знак благорасположения и хорошего отношения. Обслуживали нас тогда любезно, приносили много разных блюд, и слова для нас произносили только хорошие. Стула за столиком было три. Один, когда сели с супругой, оставался нарочно пустым. Дурных предзнаменований не было, однако немногим позднее мне стало казаться, что ты, Йося, за столом. Конечно, тебя быть там не могло, но ты сел за тот самый пустой стул и смотрел на меня насмешливо-серьезно, словно правду всех на свете вещей старался донести. Таким жалким и ничтожным себя я тогда почувствовал – не описать никому! Не было удовольствия от жаркого и от лучшего крымского вина. Жена не понимала, почему мы не пробыли в ресторации долго. Но ты – ты, Йося, понимал творящиеся со мной перемены. Времени сколько прошло, а ты меня отпускать не желаешь – я будто тобой пленен, и от тебя теперь завишу. Нет у меня других должников, кроме тебя, которым задолжал я собственной шеей, и той даже расплаты теперь мало.

*Пастернак ежится, но не одевается теплее, стоит в рубашке чуть расстегнутой. Смотрит на хлопья снега в окне.*

**Пастернак.** Стоит зиме мне представиться, я впадаю в который раз в меланхолию. Чудится – ты переступаешь по тропке вдали, силуэт до боли знакомый. И у нас теперь не Москва, а северные земли, где ни городов никаких, ни деревень. Холодно там – промерзают заключенные до костей. Не хватает им того, чтобы согреться. Ты ступаешь в злобную стужу – она забирает тебя целиком, и дальше загружаться в новые вагоны и везти нехитрый свой скарб. И нет уверенности, куда тебе дальше придется. И только стихотворение твое с тобой – отчаянная твоя смелость и частица твоего поэтического таланта… Может, сейчас смелости наберусь хоть для одного действа? (*тихо-тихо шепчет*)

«Мы живём, под собою не чуя страны,

Наши речи за десять шагов не слышны,

А где хватит на полразговорца,

Там припомнят кремлёвского горца.

Его толстые пальцы, как черви, жирны,

И слова, как пудовые гири, верны,

Тараканьи смеются усища

И сияют его голенища».

*Пастернак снова идет к двери, испуганно за нее заглядывает. За дверью по-прежнему тихо. Пастернак бросает из окна пепел сожженной фотокарточки. Зимний вечер гудит, развеивает земную сохранную памятную человеческую пыль.*

**Ставрополь, октябрь 2022**